**Глава 1**

У‑у-у-у-у-гу-гуг-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревёт мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке – повар столовой нормального питания служащих центрального совета народного хозяйства – плеснул кипятком и обварил мне левый бок.

Какая гадина, а ещё пролетарий. Господи, боже мой – как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.

Чем я ему помешал? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперёк себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это – последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «бар» жрут дежурное блюдо – грибы, соус пикан по 3р.75 к. порция. Это дело на любителя всё равно, что калошу лизать… У‑у-у-у‑у…

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчётливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить?

Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая трава, а кроме того, нажрёшься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не грымза какая-то, что поёт на лугу при луне – «Милая Аида» – так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдёшь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по рёбрам получали? Кушано достаточно. Всё испытал, с судьбой своей мирюсь и, если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой ещё не угас… Живуч собачий дух.

Но вот тело моё изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что – как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление лёгких, а, получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением лёгких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит лёгкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибёт меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу…

Дворники из всех пролетариев – самая гнусная мразь. Человечьи очистки – самая низшая категория. Повар попадается разный. Например – покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнёт Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нормального питания. Что они там вытворяют в Нормальном питании – уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он её не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. С… эти французы, между нами говоря. Хоть и лопают богато, и всё с красным вином. Да…

Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в бар не пойдёшь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщины единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает… Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У неё и верхушка правого лёгкого не в порядке и женская болезнь на французской почве, на службе с неё вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вот она…

Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорёт: до чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрёна, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло моё времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду – всё на женское тело, на раковые шейки, на абрау-дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне её, жаль! Но самого себя мне ещё больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне… Куда пойду? У‑у-у-у‑у!..

– Куть, куть, куть! Шарик, а шарик… Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух…

Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

Боже мой… Какая погода… Ух… И живот болит. Это солонина! И когда же это всё кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало её вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пёс остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твёрдо решил, что больше отсюда никуда не пойдёт, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слёзы, как пупырыши, вылезали из глаз и тут же засыхали.

Испорченный бок торчал свалявшимися промёрзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. – «Шарик» она назвала его… Какой он к чёрту «Шарик»? Шарик – это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрёт, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пёс. Впрочем, спасибо на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещённом магазине хлопнула, и из неё показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже – вернее всего, – господин. Ближе – яснее – господин. А вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но всё же издали можно спутать. А вот по глазам – тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза значительная вещь. Вроде барометра. Всё видно у кого великая сушь в душе, кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в рёбра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься – получай. Раз боишься – значит стоишь… Р‑р-р…

Гау-гау…

Господин уверенно пересёк в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого всё видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему её и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он всё ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный, больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза?

Вот он рядом… Чего ждёт? У‑у-у‑у… Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало охотного ряда? Что такое? Колбасу. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте её мне.

Пёс собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар.

Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю – в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пёс пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности – зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде, кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У‑у-у‑у… Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то ещё рано, а отчаяние – и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остаётся.

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый свёрток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «особая краковская». И псу этот кусок.

О, бескорыстная личность! У‑у-у!

– Фить-фить, – посвистал господин и добавил строгим голосом:

– Бери!

Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок.

Пёс мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал её в два счёта. При этом подавился колбасой и снегом до слёз, потому что от жадности едва не заглотал верёвочку. Ещё, ещё лижу вам руку.

Целую штаны, мой благодетель!

– Будет пока что… – господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провёл рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

– А‑га, – многозначительно молвил он, – ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. – Он пощёлкал пальцами. – Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботиками, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сняли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нём, поглощённый одной мыслью – как бы не утерять в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он её выразил. Поцеловал в ботик у Мёртвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго и этого вора прихватит с собой, и придётся делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа. – Ф‑р-р‑р… га…у! Вон! Не напасёшься моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке.

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском поменьше, золотников на пять.

Эх, чудак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда не уйду.

За вами буду двигаться куда ни прикажете.

– Фить-фить-фить! Сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

Фить-фить! Сюда? С удово… Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодёр в позументе.

– Да не бойся ты, иди.

– Здравия желаю, Филипп Филиппович.

– Здравствуй, Фёдор.

Вот это – личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец – ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну‑с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси.

Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щёткой сколько раз морду уродовал мне, а?

– Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоится. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

– Писем мне, Фёдор, не было?

Снизу на лестницу почтительно:

– Никак нет, Филипп Филиппович (интимно вполголоса вдогонку), – а в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный пёсий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

– Ну‑у?

Глаза его округлились и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

– Точно так, целых четыре штуки.

– Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

– Да ничего‑с.

– А Фёдор Павлович?

– За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

– Чёрт знает, что такое!

– Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей.

Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних – в шею.

– Что делается. Ай-яй-яй… Фить-фить.

Иду‑с, поспеваю. Бок, изволите ли видеть, даёт себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, ещё раз повернули и вот – бельэтаж.

**Глава 2**

Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее (ежели вы проживаете в Москве, и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются), вы волей-неволей научитесь грамоте, притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелёно-голубые вывески с надписью МСПО – мясная торговля. Повторяем, всё это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пёс отведал изолированной проволоки, она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом Шариковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной» и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки.

Далее, пошло ещё успешней. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, потом и «б» – подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер.

Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «сыр». Чёрный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина «Чичкина», горы голландского красного, зверей приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший дурно пахнущий бакштейн.

Если играли на гармошке, что было немногим лучше «Милой Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «Неприли…», что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, – иногда, в редких случаях, – салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины…

Гау-гау… га… строномия. Если тёмные бутылки с плохой жидкостью…

Ве-и-ви-на-а-вина… Елисеевы братья бывшие.

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пёс тотчас поднял глаза на большую, чёрную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застеклённой волнистым и розовым стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу: пэ-ер‑о «про». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что означающая. «Неужто пролетарий»? – подумал Шарик с удивлением… – «Быть этого не может». Он поднял нос кверху, ещё раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «нет, здесь пролетарием не пахнет. Учёное слово, а бог его знает что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, ещё более оттенив чёрную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это да, это я понимаю», – подумал пёс.

– Пожалуйте, господин Шарик, – иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов нагромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и галоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

– Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? – улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжёлую шубу на чёрно-бурой лисе с синеватой искрой. – Батюшки! До чего паршивый!

– Вздор говоришь. Где паршивый? – строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в чёрном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко сверкала золотая цепь.

– Погоди-ка, не вертись, фить… Да не вертись, дурачок. Гм!.. Это не парши… Да стой ты, чёрт… Гм! А‑а. Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!..

«Повар, каторжник повар!» – жалобными глазами молвил пёс и слегка подвыл.

– Зина, – скомандовал господин, – в смотровую его сейчас же и мне халат.

Женщина посвистала, пощёлкала пальцами и пёс, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоём попали в узкий тускло освещённый коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в тёмной каморке, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щёлкнула и превратилась в ослепительный день, причём со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э, нет», – мысленно завыл пёс, – «Извините, не дамся! Понимаю, чёрт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножами, а до него и так дотронуться нельзя».

– Э, нет, куда?! – закричала та, которую называли Зиной.

Пёс извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым боком так, что хрястнуло по всей квартире. Потом, отлетел назад, закрутился на месте как кубарь под кнутом, причём вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искажённое женское лицо.

– Куда ты, чёрт лохматый?.. – кричала отчаянно Зина, – вот окаянный!

«Где у них чёрная лестница?..» – соображал пёс. Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

– Стой, с‑скотина, – кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги, – Зина, держи его за шиворот, мерзавца.

– Ба… батюшки, вот так пёс!

Ещё шире распахнулась дверь и ворвалась ещё одна личность мужского пола в халате. Давя битые стёкла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причём пёс с увлечением тяпнул её повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась.

Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились и он поехал куда-то криво вбок.

«Спасибо, кончено», – мечтательно подумал он, валясь прямо на острые стёкла:

– «Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живодёры, за что же вы меня?

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

\* \* \*

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал. Пёс приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперёк боков и живота. «Всё-таки отделали, сукины дети, подумал он смутно, – но ловко, надо отдать им справедливость».

– «От Севильи до Гренады… В тихом сумраке ночей», – запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пёс удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были поддёрнуты, и голая жёлтая голень вымазана засохшей кровью и йодом.

«Угодники!» – подумал пёс, – «Это стало быть я его кусанул. Моя работа. Ну, будут драть!»

– «Р‑раздаются серенады, раздаётся стук мечей!». Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

«У‑у-у» – жалобно заскулил пёс.

– Ну, ладно, опомнился и лежи, болван.

– Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? – спросил приятный мужской голос и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком и в шкафу зазвенели склянки.

– Лаской‑с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет‑с, нет‑с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стёкла и женский голос кокетливо заметил:

– Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

– Только попробуй. Я тебе съем! Это отрава для человеческого желудка.

Взрослая девушка, а как ребёнок тащишь в рот всякую гадость. Не сметь!

Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит… «Всех, кто скажет, что другая здесь сравняется с тобой…».

Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.

Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:

– Фить, фить. Ну, ничего, ничего. Идём принимать.

Пёс поднялся на нетвёрдые ноги, покачался и задрожал, но быстро оправился и пошёл следом за развевающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пёс пересёк узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещён сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошёл с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего, он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стёклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятным оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку.

– Ложись, – приказал Филипп Филиппович.

Противоположная резная дверь открылась, вошёл тот, тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым с острой бородкой, подал лист и молвил:

– Прежний…

Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.

«Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал», – в смятении подумал пёс и привалился на ковровый узор у тяжёлого кожаного дивана, – «а сову эту мы разъясним…»

Дверь мягко открылась и вошёл некто, настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко…

– Молчать! Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик.

Вошедший очень почтительно и смущённо поклонился Филипп Филипповичу.

– Хи-хи! Вы маг и чародей, профессор, – сконфуженно вымолвил он.

– Снимайте штаны, голубчик, – скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.

«Господи Исусе», – подумал пёс, – «вот так фрукт!»

На голове у фрукта росли совершенно зелёные волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет, морщины расползались на лице у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, её приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского щелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.

От интереса у пса даже прошла тошнота.

Тяу, тяу!.. – он легонько потявкал.

– Молчать! Как сон, голубчик?

– Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неописуемо, – конфузливо заговорил посетитель. – Пароль Дьоннер – 25 лет ничего подобного, – субъект взялся за пуговицу брюк, – верите ли, профессор, каждую ночь обнажённые девушки стаями. Я положительно очарован. Вы – кудесник.

– Хм, – озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.

Тот совладал, наконец, с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шёлковыми чёрными кошками и пахли духами.

Пёс не выдержал кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.

– Ай!

– Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.

«Я не кусаюсь?» – удивился пёс.

Из кармана брюк вошедший выронил на ковёр маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал её и густо покраснел.

– Вы, однако, смотрите, – предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, – всё-таки, смотрите, не злоупотребляйте!

– Я не зло… – смущённо забормотал субъект, продолжая раздеваться, – я, дорогой профессор, только в виде опыта.

– Ну, и что же? Какие результаты? – строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

– 25 лет, клянусь богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899‑м году в Париже на Рю де ла Пэ.

– А почему вы позеленели?

Лицо пришельца затуманилось.

– Проклятая Жиркость[[1]](https://azbyka.ru/fiction/sobache-serdce-bulgakov/#_ftn1)!. Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите, бормотал субъект, ища глазами зеркало. – Им морду нужно бить! – свирепея, добавил он. – Что же мне теперь делать, профессор? – спросил он плаксиво.

– Хм, обрейтесь наголо.

– Профессор, – жалобно восклицал посетитель, – да ведь они опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уже третий день не езжу. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!

– Не сразу, не сразу, мой дорогой, – бормотал Филипп Филиппович.

Наклоняясь, он блестящими глазами исследовал голый живот пациента:

– Ну, что ж, – прелестно, всё в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. «Много крови, много песен…».

Одевайтесь, голубчик!

– «Я же той, что всех прелестней!..» – дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.

– Две недели можете не показываться, – сказал Филипп Филиппович, – но всё-таки прошу вас: будьте осторожны.

– Профессор! – из-за двери в экстазе воскликнул голос, – будьте совершенно спокойны, – он сладостно хихикнул и пропал.

Рассыпной звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошёл тяпнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:

– Годы показаны не правильно. Вероятно, 54—55. Тоны сердца глуховаты.

Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жёваной шее. Странные чёрные мешки висели у неё под глазами, а щёки были кукольно-румяного цвета. Она сильно волновалась.

– Сударыня! Сколько вам лет? – очень сурово спросил её Филипп Филиппович.

Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян.

– Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма!..

– Лет вам сколько, сударыня? – ещё суровее повторил Филипп Филиппович.

– Честное слово… Ну, сорок пять…

– Сударыня, – возопил Филипп Филиппович, – меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста. Вы же не одна!

Грудь дамы бурно вздымалась.

– Я вам одному, как светилу науки. Но клянусь – это такой ужас…

– Сколько вам лет? – яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович и очки его блеснули.

– Пятьдесят один! – корчась со страху ответила дама.

– Снимайте штаны, сударыня, – облегчённо молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.

– Клянусь, профессор, – бормотала дама, дрожащими пальцами расстёгивая какие-то кнопки на поясе, – этот Мориц… Я вам признаюсь, как на духу…

– «От Севильи до Гренады…» – рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.

– Клянусь Богом! – говорила дама и живые пятна сквозь искусственные продирались на её щеках, – я знаю – это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод. – Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок.

Пёс совершенно затуманился и всё в голове у него пошло кверху ногами.

«Ну вас к чёрту», – мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда, – «И стараться не буду понять, что это за штука – всё равно не пойму.

Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки.

Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.

– Я вам, сударыня, вставляю яичники обезьяны, – объявил он и посмотрел строго.

– Ах, профессор, неужели обезьяны?

– Да, – непреклонно ответил Филипп Филиппович.

– Когда же операция? – бледнея и слабым голосом спрашивала дама.

– «От Севильи до Гренады…» Угм… В понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас.

– Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?

– Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого – 50 червонцев.

– Я согласна, профессор!

Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пёс дремал, тошнота прошла, пёс наслаждался утихшим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна: будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста… Потом взволнованный голос тявкнул над головой.

– Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?

– Господа, – возмущённо кричал Филипп Филиппович, – нельзя же так.

Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?

– Четырнадцать, профессор… Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.

– Да ведь я же не юрист, голубчик… Ну, подождите два года и женитесь на ней.

– Женат я, профессор.

– Ах, господа, господа!

Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук.

«Похабная квартирка», – думал пёс, – «но до чего хорошо! А на какого чёрта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавёлся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, моё счастье! А сова эта дрянь… Наглая.

Окончательно пёс очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди и все одеты очень скромно.

«Этим что нужно?» – удивлённо подумал пёс.

Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов.

Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

– Мы к вам, профессор, – заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, – вот по какому делу…

– Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, – перебил его наставительно Филипп Филиппович, – во-первых, вы простудитесь, а, во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

– Во-первых, мы не господа, – молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового вида.

– Во-первых, – перебил его Филипп Филиппович, – вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый тот, с копной.

– Какая разница, товарищ? – спросил он горделиво.

– Я – женщина, – признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших – блондин в папахе.

– В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор, – внушительно сказал Филипп Филиппович.

– Я вам не милостивый государь, – резко заявил блондин, снимая папаху.

– Мы пришли к вам, – вновь начал чёрный с копной.

– Прежде всего – кто это мы?

– Мы – новое домоуправление нашего дома, – в сдержанной ярости заговорил чёрный. – Я – Швондер, она – Вяземская, он – товарищ Пеструхин и Шаровкин. И вот мы…

– Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?

– Нас, – ответил Швондер.

– Боже, пропал калабуховский дом! – в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

– Что вы, профессор, смеётесь?

– Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, – крикнул Филипп Филиппович, – что же теперь будет с паровым отоплением?

– Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

– По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

– Мы, управление дома, – с ненавистью заговорил Швондер, – пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома…

– Кто на ком стоял? – крикнул Филипп Филиппович, – потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

– Вопрос стоял об уплотнении.

– Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

– Известно, – ответил Швондер, – но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живёте в семи комнатах.

– Я один живу и работаю в семи комнатах, – ответил Филипп Филиппович, – и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

– Восьмую! Э‑хе-хе, – проговорил блондин, лишённый головного убора, однако, это здорово.

– Это неописуемо! – воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

– У меня приёмная – заметьте – она же библиотека, столовая, мой кабинет – 3. Смотровая – 4. Операционная – 5. Моя спальня – 6 и комната прислуги – 7. В общем, не хватает… Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

– Извиняюсь, – сказал четвёртый, похожий на крепкого жука.

– Извиняюсь, – перебил его Швондер, – вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.

– Даже у Айседоры Дункан, – звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело и он не произнёс ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

– И от смотровой также, – продолжал Швондер, – смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

– Угу, – молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, – а где же я должен принимать пищу?

– В спальне, – хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

– В спальне принимать пищу, – заговорил он слегка придушенным голосом, – в смотровой читать, в приёмной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. – вдруг рявкнул он и багровость его стала жёлтой. – Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где её принимают все нормальные люди, то-есть в столовой, а не в передней и не в детской.

– Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, – сказал взволнованный Швондер, – мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

– Ага, – молвил Филипп Филиппович, – так? – И голос его принял подозрительно вежливый оттенок, – одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень, – в восторге подумал пёс, – весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю ещё – каким способом, но так тяпнет…

Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие… Р‑р-р…»

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в неё так:

– Пожалуйста… Да… Благодарю вас. Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Пётр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Пётр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно, как и все остальные операции.

Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России… Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооружённых револьверами и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть её.

– Позвольте, профессор, – начал Швондер, меняясь в лице.

– Извините… У меня нет возможности повторить всё, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

– Что же делать… Мне самому очень неприятно… Как? О, нет, Пётр Александрович! О нет. Больше я так не согласен. Терпение моё лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм… Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы моё имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага… Ну, это другое дело. Ага… Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, – змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, – сейчас с вами будут говорить.

– Позвольте, профессор, – сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, вы извратили наши слова.

– Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

– Я слушаю. Да… Председатель домкома… Мы же действовали по правилам… Так у профессора и так совершенно исключительное положение…

Мы знаем об его работах… Целых пять комнат хотели оставить ему… Ну, хорошо… Раз так… Хорошо…

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

«Как оплевал! Ну и парень!» – восхищённо подумал пёс, – «что он, слово, что ли, такое знает? Ну теперь можете меня бить – как хотите, а я отсюда не уйду.

Трое, открыв рты, смотрели на оплёванного Швондера.

– Это какой-то позор! – несмело вымолвил тот.

– Если бы сейчас была дискуссия, – начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, – я бы доказала Петру Александровичу…

– Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? – вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

– Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдём… Только я, как заведующий культотделом дома…

– За-ве-дующая, – поправил её Филипп Филиппович.

– Хочу предложить вам, – тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, – взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.

– Нет, не возьму, – кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налётом.

– Почему же вы отказываетесь?

– Не хочу.

– Вы не сочувствуете детям Германии?

– Сочувствую.

– Жалеете по полтиннику?

– Нет.

– Так почему же?

– Не хочу.

Помолчали.

– Знаете ли, профессор, – заговорила девушка, тяжело вздохнув, – если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дёрнул её за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы ещё разъясним, вас следовало бы арестовать.

– А за что? – с любопытством спросил Филипп Филиппович.

– Вы ненавистник пролетариата! – гордо сказала женщина.

– Да, я не люблю пролетариата, – печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

– Зина, – крикнул Филипп Филиппович, – подавай обед. Вы позволите, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приёмную, молча переднюю и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

Пёс встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.

**Глава 3**

На разрисованных райскими цветами тарелках с чёрной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная сёмга, маринованные угри. На тяжёлой доске кусок сыра со слезой, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, – икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты – тяжёлый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свёрнутые в виде папских тиар, и три тёмных бутылки.

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шёл такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды»! – подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой.

– Сюда их, – хищно скомандовал Филипп Филиппович. – Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета: налейте не английской, а обыкновенной русской водки.

Красавец тяпнутый – он был уже без халата в приличном чёрном костюме – передёрнул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной.

– Ново-благословенная? – осведомился он.

– Бог с вами, голубчик, – отозвался хозяин. – Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.

– Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная – 30 градусов.

– А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-первых, – а во-вторых, – бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать – что им придёт в голову?

– Всё, что угодно, – уверенно молвил тяпнутый.

– И я того же мнения, – добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло, – …Мм… Доктор Борменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это… Я ваш кровный враг на всю жизнь. «От Севильи до Гренады…».

Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький тёмный хлебик. Укушенный последовал его примеру.

Глаза Филиппа Филипповича засветились.

– Это плохо? – жуя спрашивал Филипп Филиппович. – Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.

– Это бесподобно, – искренно ответил тяпнутый.

– Ещё бы… Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок – это первая. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском Базаре. На, получай.

– Пса в столовой прикармливаете, – раздался женский голос, – а потом его отсюда калачом не выманишь.

– Ничего. Бедняга наголодался, – Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.

Засим от тарелок поднимался пахнущий раками пар; пёс сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:

– Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе – большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой). И что при этом говорить. Да‑с. Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет – не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И – Боже вас сохрани – не читайте до обеда советских газет.

– Гм… Да ведь других нет.

– Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», – теряли в весе.

– Гм… – с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.

– Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.

– Вот чёрт…

– Да‑с. Впрочем, что же это я? Сам же заговорил о медицине.

Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишнёвой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа.

Слопав его, пёс вдруг почувствовал, что он хочет спать, и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение, – думал он, захлопывая отяжелевшие веки, – глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда – это глупость».

Столовая наполнилась неприятным синим дымом. Пёс дремал, уложив голову на передние лапы.

– Сен-Жюльен – приличное вино, – сквозь сон слышал пёс, – но только ведь теперь же его нету.

Глухой, смягчённый потолками и коврами, хорал донёсся откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил и пришла Зина.

– Зинуша, что это такое значит?

– Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, – ответила Зина.

– Опять! – горестно воскликнул Филипп Филиппович, – ну, теперь стало быть, пошло, пропал калабуховский дом. Придётся уезжать, но куда – спрашивается. Всё будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка калабухову.

– Убивается Филипп Филиппович, – заметила, улыбаясь, Зина и унесла груду тарелок.

– Да ведь как не убиваться?! – возопил Филипп Филиппович, – ведь это какой дом был – вы поймите!

– Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, – возразил красавец тяпнутый, – они теперь резко изменились.

– Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я – человек фактов, человек наблюдения. Я – враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалка и калошная стойка в нашем доме.

– Это интересно…

«Ерунда – калоши. Не в калошах счастье», – подумал пёс, – «но личность выдающаяся.»

– Не угодно ли – калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение этого времени до марта 1917 года не было ни одного случая – подчёркиваю красным карандашом: ни одного – чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня приём. В марте 17-го года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, 3 палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила своё существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция – не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор ещё запирать под замок? И ещё приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковёр с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2‑й подъезд калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через чёрный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?

– Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош, – заикнулся было тяпнутый.

– Ничего похожего! – громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. – Гм… Я не признаю ликёров после обеда: они тяжелят и скверно действуют на печень… Ничего подобного! На нём есть теперь калоши и эти калоши… мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, – кто их попёр? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок). Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок). Ни в коем случае! Да‑с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь). На какого чёрта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай Бог памяти, тухло в течение 20-ти лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь, статистика – ужасная вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому.

– Разруха, Филипп Филиппович.

– Нет, – совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, – нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это – мираж, дым, фикция, – Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заёрзали по скатерти. – Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? – яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за неё. – Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» – я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот). Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев – прямым своим делом, – разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удаётся, доктор, и тем более – людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны!

Филипп Филиппович вошёл в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались.

Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку и голова его сверкала серебром.

Его слова на сонного пса падали точно глухой подземный гул. То сова с глупыми жёлтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещённый резким электричеством от абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа.

«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать», – мутно мечтал пёс, – «первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, денег куры не клюют».

– Городовой! – кричал Филипп Филиппович. – Городовой! – «Угу-гу-гу!»

Какие-то пузыри лопались в мозгу пса…

– Городовой! Это и только это. И совершенно неважно – будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите – разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирят этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему.

– Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович, – шутливо заметил тяпнутый, – не дай Бог вас кто-нибудь услышит.

– Ничего опасного, – с жаром возразил Филипп Филиппович. – Никакой контрреволюции. Кстати, вот ещё слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно – что под ним скрывается? Чёрт его знает! Так я и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.

Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил её рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: «мерси».

– Минутку, доктор! – приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами:

– Сегодня вам, Иван Арнольдович, 40 рублей причитается. Прошу.

Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака.

– Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? – осведомился он.

– Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в большом – «Аида». А я давно не слышал. Люблю… Помните? Дуэт… тари-ра-рим.

– Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? – с уважением спросил врач.

– Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, – назидательно объяснил хозяин. – Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям, и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел, – под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетитор, – начало девятого… Ко второму акту поеду… Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух… Вот что, Иван Арнольдович, вы всё же следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола – в питательную жидкость и ко мне!

– Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, – паталогоанатомы мне обещали.

– Отлично, а мы пока этого уличного неврастеника понаблюдаем. Пусть бок у него заживает.

«Обо мне заботится», – подумал пёс, – «очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он – волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки… Ведь не может же быть, чтобы всё это я видел во сне. А вдруг – сон? (Пёс во сне дрогнул). Вот проснусь… и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начинается подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди… Столовая, снег… Боже, как тяжело мне будет!..»

Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.

Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на неё, дважды день, серые гармоники под подоконником наливались жаром и тепло волнами расходилось по всей квартире.

Совершенно ясно: пёс вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, всё трюмо в гостиной, в приёмной между шкафами отражали удачливого пса – красавца.

«Я – красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито», – размышлял пёс, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. – «Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю – у меня на морде – белое пятно.

Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович – человек с большим вкусом – не возьмёт он первого попавшегося пса-дворнягу».

В течение недели пёс сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Ну, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 часов вечера в столовой, на которых пёс присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пёс становился на задние лапы и жевал пиджак, пёс изучил звонок Филиппа Филипповича – два полнозвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в чернобурой лисе, сверкая миллионом снежных блёсток, пахнущий мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу.

– Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?

– Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, возмущённо говорила Зина, – а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал.

– Никого драть нельзя, – волновался Филипп Филиппович, – запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня?

– Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь – как он не лопнет.

– Ну и пусть ест на здоровье… Чем тебе помешала сова, хулиган?

– У‑у! – скулил пёс-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.

Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приёмную в кабинет. Пёс подвывал, огрызался, цеплялся за ковёр, ехал на заду, как в цирке.

Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином.

На столе валялся вдребезги разбитый портрет.

– Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались, – расстроенно докладывала Зина, – ведь на стол вскочил, мерзавец! И за хвост её – цап! Я опомниться не успела, как он её всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить.

И начинался вой. Пса, прилипшего к ковру, тащили тыкать в сову, причём пёс заливался горькими слезами и думал – «бейте, только из квартиры не выгоняйте».

– Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 15 копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью.

На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушёл в ванную комнату, размышляя – как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пёс понял, что он – просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пёс шёл, как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у мёртвого переулка – какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестёркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Фёдор-швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика, Зине он при этом заметил:

– Ишь, каким лохматым обзавёлся Филипп Филиппович. Удивительно жирный.

– Ещё бы, – за шестерых лопает, – пояснила румяная и красивая от мороза Зина.

«Ошейник – всё равно, что портфель», – сострил мысленно пёс, и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин.

Оценив ошейник по достоинству, пёс сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически воспрещён именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в чёрной и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутолённой страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной причёске на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах…

– Вон! – завопила Дарья Петровна, – вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!..

«Чего ты? Ну, чего лаешься?» – умильно щурил глаза пёс. – «Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете?» – и он боком лез в дверь, просовывая в неё морду.

Шарик-пёс обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашицей, заливала всё это сливками, посыпала солью, и на доске лепила котлеты. В плите гудело как на пожаре, а на сковородке ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, в котором пламя клокотало и переливалось.

Вечером потухала каменная пасть, в окне кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой.

В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на тёплой плите, как лев на воротах и, задрав от любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью всё, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете черноусого и пасхальный розан свисал с него.

– Как демон пристал, – бормотала в полумраке Дарья Петровна – отстань! Зина сейчас придёт. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?

– Нам это ни к чему, – плохо владея собой и хрипло отвечал черноусый. – До чего вы огненная!

Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами и, если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кабинете в глубоком кресле.

Огней под потолком не было. Горела только одна зелёная лампа на столе.

Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнажённые по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах.

Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало жёлтые упругие мозги.

– «К берегам священным Нила», – тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра.

Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате, в пёсьей шкуре оживала последняя, ещё не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обречённая блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела входная дверь.

Зинка в кинематограф пошла, – думал пёс, – а как придёт, ужинать, стало быть, будем. Сегодня, надо полагать, – телячьи отбивные!

\* \* \*

В этот ужасный день ещё утром Шарика кольнуло предчувствие.

Вследствие этого он вдруг заскулил и утренний завтрак – полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку – съел без всякого аппетита. Он скучно прошёлся в приёмную и легонько подвыл там на собственное отражение. Но днём после того, как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошёл обычно. Приёма сегодня не было потому, что, как известно, по вторникам приёма не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжёлые книги с пёстрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка.

Проходя по коридору, пёс услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.

– Отлично, – послышался его голос, – сейчас же везите, сейчас же!

Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед.

– Обед! Обед! Обед!

В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забегала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пёс опять почувствовал волнение.

«Не люблю кутерьмы в квартире», – раздумывал он… И только он это подумал, как кутерьма приняла ещё более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Борменталя. Тот привёз с собой дурно пахнущий чемодан, и даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.

– Когда умер? – закричал он.

– Три часа назад. – Ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстёгивая чемодан.

«Кто такой умер?» – хмуро и недовольно подумал пёс и сунулся под ноги, – «терпеть не могу, когда мечутся».

– Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! – закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина. – Зина! К телефону Дарью Петровну записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас – скорей, скорей, скорей!

«Не нравится мне, не нравится», – пёс обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой в кухню и обратно.

«Пойти, что ли, пожрать? Ну их в болото», – решил пёс и вдруг получил сюрприз.

– Шарику ничего не давать, – загремела команда из смотровой.

– Усмотришь за ним, как же.

– Запереть!

И Шарика заманили и заперли в ванной.

«Хамство», – подумал Шарик, сидя в полутёмной ванной комнате, – «просто глупо…»

И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении духа – то ли в злобе, то ли в каком-то тяжёлом упадке. Всё было скучно, неясно…

«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович», – думал он, – «две пары уже пришлось прикупить и ещё одну купите. Чтоб вы псов не запирали».

Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности – солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы побродяги.

«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдёшь, зачем лгать», – тосковал пёс, сопя носом, – «привык. Я барский пёс, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция… Бред этих злосчастных демократов…»

Потом полутьма в ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться.

«У‑у-у!» – как в бочку пролетело по квартире.

«Сову раздеру опять» – бешено, но бессильно подумал пёс. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нём встала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза.

И в разгар муки дверь открылась. Пёс вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался на кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую.

Холодок прошёл у пса под сердцем.

«Зачем же я понадобился?» – подумал он подозрительно, – «бок зажил, ничего не понимаю».

И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был привезён в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было всё в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки – в чёрных перчатках.

В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге.

Пёс здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от пёсьих глаз. Они были насторожены, фальшивы и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пёс глянул на него тяжело и пасмурно и ушёл в угол.

– Ошейник, Зина, – негромко молвил Филипп Филиппович, – только не волнуй его.

У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на неё.

«Что же… Вас трое. Возьмёте, если захотите. Только стыдно вам… Хоть бы я знал, что будете делать со мной…»

Зина отстегнула ошейник, пёс помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним и скверный мутящий запах разлился от него.

«Фу, гадость… Отчего мне так мутно и страшно…» – подумал пёс и попятился от тяпнутого.

– Скорее, доктор, – нетерпеливо молвил Филипп Филиппович.

Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса насторожённых дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел ещё отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним, и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но ещё раз пёс успел вырваться. «Злодей…» – мелькнуло в голове. – «За что?» – И ещё раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нём в лодках очень весёлые загробные небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись.

– На стол! – весёлым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий пёс любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху и была ещё почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом – ничего.